

Евгений АСНОРЕВСКИЙ

КУКОЛЬНИК

*Не то чтоб уж я его приравнивал к актёру на театре:
сохрани Боже, тем более что сам его уважаю.*

Достоевский, «Бесы»

Уйти из театра или остаться? Римгайлов решил. Но тут же передумал. Вечная изменчивость мнений.

Римгайлов морщил похожий на ридикюль лоб, посвистывал, тряс коленом.

«Пойдёшь налево, — говорил обросший мхом, не пойми откуда явившийся сказочный камень, — потеряешь оклад. Приличная зарплата всё-таки. Направо — потеряешь радость. Прямо — угодишь в безвестность».

Ещё в далёком прянично-кисельном детстве Римгайлов познал собственную гаденькую нерешительность.

«Песочное или зефир?» — спрашивала свежая, разноцветная мама, указывая на витрину кондитерской и поправляя стрекозиные крылья легкого платья. Римгайлов не знал. Как-то раз это незнание так разозлило маму, что она дала сыну подзатыльник. Римгайлов простил маму ещё до того, как она прослезилась и попросила прощения. Он и сам был готов ударить себя, чтобы научиться выбирать.

Римгайлов любил Канта и Чехова. Не любил Достоевского. Ему нравились фразы «категорический императив Канта» и «чеховское ружьё». Ни одного выражения, связанного с Достоевским, он не помнил. Однако держал в памяти название родового гнезда писателя — села Достоево, расположенного неподалёку от родного для Римгайлова Пинска.

Римгайлов был умён, усат, артистически тонок, ловок акробатически и весьма склонен.

В театральном институте имени Л. юношу, по его мнению, окружали одни дубогловые бездари. Остроумец Римгайлов называл товарищей по факультету кукольного театра «низшая форма жизни с высшим образованием». Называл дерзко и громко. Поэтому имел среди однокашников репутацию нигилиста-неврастеника.

Отучившись, Римгайлов разумно отослал свои едкие выражения на малодоступный склад памяти и, потренировав улыбку, отправился в местный театр получать работу. Жил артист довольно долго — двадцать три года, — поэтому жизненную удачу считал бутылкой кефира на акции вселенского супермаркета. В «кефирной жизни» нужно уметь вовремя схватить своё. Об этом помнил кукольник, настраиваясь на прослушивание.

Придя с надеждой и опозданием, Римгайлов решительно ворвался в оклеенный похабно-жёлтыми афишами кабинет и долго молча улыбался директору, который знал, что театр кукол в городе один, а кукольников институт выпускает каждый год. Нет, Римгайлов не потерял дар речи. Его не остолебнячило волнение. Он не мог выбрать идеальное начало и метался между «Здравствуйте, я буду у вас служить» и «Здравствуйте, я осчастливаю себя и вас, став частью труппы».

— Вы, собственно?.. — спросил одетый в старо-серый пиджак директор и поскрёб золотистый парик на своей ромбовидной голове.

— Римгайлов, — пропел посетитель. — Подскажите, можно ли мне осчастливить себя и вас?

Директор заранее решил, что возьмёт Римгайлова: взять кого-то нужно быстро, потому что смотрины утомили пожилого человека, вынужденного управлять целым театром. Печень тью-тью. Пятьсот лет... то есть пятьдесят девять. Пенсия скоро... А надо жидких желторотышей отбирать для творческого серпентария единомышленников. Надоело! Пусть в коллектив вливается Рим... Ром... Римгайлов... или как там его? Не хуже прочих. Однако слова кандидата, жаждущего счастья, смутили директора.

«Этот уж совсем оригинал. Здоров ли?» — подумал он.

Но тут Римгайлов сладостно улыбнулся. Директор хмыкнул, секунду подумал и... объявил Римгайлова членом труппы.

В пятницу тринадцатого Римгайлов впервые пришёл в театр не смотреть представление, а работать. Он суеверно плюнул на входную дверь, пытаясь отогнать невезение нехорошего дня. Невезения, впрочем, не было.

Старинное здание театра, построенное каким-то бароном или графом, может быть, князем, вмещало уютный главный зал с тремя ярусами лож, истёртую сцену, желтушные комнаты для репетиций и пёструю труппу из девятнадцати человек.

Директор представил Римгайлова в главном зале. Пожилые Яков Николаевич и Николай Яковлевич изящно поклонились новому коллеге и зашептали что-то Инессе, даме за пятьдесят. Надежда и Виолетта, молодые девушки, сидевшие в престарелых креслах первого ряда, швырнули в Римгайлова колючие взгляды из-под диких ресничек. Зато темноволосая юная Зиночка, не снявшая в помещении шапку-ушанку, подошла к Римгайлову и крепко пожала ему руку.

— Это вот, так-с, наша, так-сказать, Зиночка, — прокрихтел директор и добавил: — Так-с, ну, теперь вы все сблизились.

Хотя с Римгайловым сблизилась для рукопожатия только Зиночка, директор назвал его «своим парнем» и ещё долго басил о важности «новой крови». Потом, проклиная старость, он удалился, а Яков Николаевич и Николай Яковлевич одновременно хрюкнули и поманили Римгайлова взмахами морщинистых рук цвета фурацилина.

— Плыви сюда, новая кровь, — крикнула Инесса.

Когда Римгайлов подплыл, Николаевич и Яковлевич бессловесно, но с пытением вальсирующих ежей, подхватили сухое тельце Римгайлова и вынесли на середину сцены. Инесса откашлялась и запела гимн театра, написанный осветителем Шмулем. Первые строчки гимна были такими:

Театр наш светится,

Серебром приветится.

Поражённый приветящимся серебром и объятьями пожилых мужчин, Римгайлов быстро хлопал веками, пока Надежда и Виолетта хлопали в ладоши. Храм Мельпомены встречал нового послушника, застывшего в позе борца сумо прямо на руках опытных кукловодов. В самый разгар инициации перед Римгайловым явилась Зиночка и возложила на его блестящий от пота лоб ушанку.

— Это наш обряд посвящения, — шепнула девушка.

Жёлто-зелёный Римгайлов в ушанке тут же был опущен на сцену и вонзился в неё вопросительным знаком.

После работы кукольник совершил поход в кафе «Батлейка». Там, в окружении толстоногих столов, тонконогих бокалов и алчущих коллег, Римгайлов шипел на помятое меню, но, как обычно, не мог выбрать.

— Шампанское или, может, водочку? — томное контральто Надежды растаяло в кафешном гапе.

— Всё-таки ты ещё не дорос до Гамлета, Яков Николаевич, — говорил Николай Яковлевич и стучал по столешнице пустой рюмкой.

— Доро-о-о-ос! — кричал Яков Николаевич, с трудом шевеля губами. — Я этим Гамлетом, принцем датским, знаешь, как манипулирую? Ритм какой, знаешь? Понимаешь, как? Надеваю его и ка-а-ак... Уф! Станиславский бы поверил! Механика, дорогой мой, механика!

— А я вот Офелию играла на тростях, — Виолетта мечтательно смотрела в потолок.

— Эх, звёздная роль!

— Пфф, ну вот ты звезда, конечно, — Инесса изогнула губы половецким луком.

— У тебя трость в правой запаздывает всегда. Голос отклеивается. Бэ-бэ-бэ! Бу-бу-бу! Ну, звезда... Антарес!

Пока труппа ссорилась, Римгайлов молчал. Он ещё долго пучил глаза на зелёный перечень спиртного, а затем скоропостижно упился дешёвым коньяком. Кажется, сквозь пелену коньячного тумана ему виделись смеющееся лицо Виолетты и прыгучие кудри Зиночки. Кажется, его опять несли на руках. Кажется, вкручивали в салон такси, захлопывали испещрённую шашечками дверь и глухо смеялись за этой дверью, снисходительно кивая: дескать, с кем не бывает. Из такси Римгайлов выходил сам. Кажется, сам.

На следующее утро счастливчик Римгайлов, никогда не страдавший от похмеля, был готов к творчеству. Он легко позавтракал и выпорхнул из дома беспечным первоклашкой, спешащим на занятия любимого кружка.

Дойдя до бело-жёлтого театрального здания, укутанного в зелень центрального парка, кукольник заскочил в фойе. Там он заметил сосредоточенный профиль Зиночки. Девушка приглядывалась к портретам известных мастеров прошлого. Золотые рамы,

холсты, звания, вечность.

— Может, и нас с Зиной когда-нибудь повесят, — прошептал Римгайлов, взглянул на хрустальную люстру и подбоченился.

Потом была репетиция. Читали и слушали. Оживляли кукол, пахнувших пылью и овациями. Критиковали друг друга. Хохотали.

Режиссёр Жагждевич предложил Римгайлову на выбор две роли в «Красной Шапочке»: Охотника и Волка. Римгайлов вытягивал губы трубочкой, театрально подпирал голову кулаком и тёр скрипучий паркет туфлями. Жагждевич ел кислый йогурт. Режиссёр ждал ответа на протяжении четырёх баночек. Наконец, поняв, что йогурты закончатся раньше римгайловской нерешительности, Жагждевич зевнул и сказал безмолвному артисту:

— Волк так Волк. Хороший выбор. Поздравляю!

Через две недели Римгайлов оказался за чёрной ширмой. Он рычал, пока Красная Шапочка — Зиночка — пицчала о своих пирожках и бабушке.

Волк Римгайлова со странной пастью (полумесяц рогами вниз), бровками домиком и глазами навыкате плоховато сидел на руке, всё время заваливаясь мордой вперёд — будто пряча взгляд от надоедливых зрителей.

После спектакля кукольники вышли на сцену и дружно поклонились восторженным детям.

Нельзя было сказать, что Римгайлов исполнил мечту. Но всё-таки он чувствовал, что уже добился чего-то и слегка всплакнул за кулисами.

Прошло девятнадцать лет. Директор, Яков Николаевич и Николай Яковлевич поочередно скончались. Виолетта и Надежда ушли в замужество и забыли театр. Но Инесса иногда вырывалась из тисков пенсии, чтобы навестить бывших коллег.

— Было время граций и гениев, — говорила она, потрясывая пустотелого Карабаса-Барабаса, и её вставная челюсть обнажалась в улыбке Пьеро.

Римгайлов и Зиночка были ещё не старыми людьми, но «старослужащими» театра. Год назад между ними, свободными от брачных уз, наконец-то случилось то, что воспевал Шекспир и презирал Шопенгауэр.

В детстве Зиночка любила играть в куклы. Юная кукольница сама делала марионеток. Они парили под её розовыми ладошками, не отрываясь от тончайшей лески, и постукивали деревянными башмачками по круглому столику-сцене. Это было призвание и преодоление: на пути к театру Зиночка раскидала крепкие баррикады матери, желавшей видеть её работницей банка. Отец неуверенно поддерживал уверенную дочь. Но Зиночка справилась бы и сама. Сомнения совсем не посещали девичью головку, а театр кукол казался неизбежной вершиной, до которой нужно идти столько, сколько потребуется.

Наверное, театр выпил всю романтическую любовь Зиночки, точнее — аккуратно откачал любовный нектар и хранил в узорчатой амфоре девичьего бессознательного. Правда, однажды Зиночка всё же сходила замуж за девелопера Михаила. Но замужество отвлекало от репетиций, и актриса вышла из святилища Гименея так же легко, как проникла в него. Её глаза во время исхода были чистейшими бриллиантами. Руки и ноги не тряслись. Пульс не растрожил бы врачей. Она осталась феей воздуха, потому что вкушала супружество всего три месяца.

Любовная амфора всё ещё была полна до краёв, когда открылась для Римгайлова. Спустя годы после того, как Зиночка надела на нового кукольника ритуальную ушанку, любовь нашла цель. Любовь изливалась из амфоры горным водопадом на лысеющую голову Римгайлова. Впитывалась в организм, вызывая чувство тоски.

Любовь...

Римгайлов никогда не был женат, но долго мечтал о любви. Когда-то он ластился к Виолетте. Кукольница недолго играла с ухажёром, потом ехидно вильнула хвостиком любимой марионетки, лисы Алисы, и выскочила за Шмуля. Тот увёз Виолетту к своей родне в Германию.

Теперь любовь наконец-то случилась.

Вот она... вот же... рядом...

Зиночка раскидывала по разложенной до королевских размеров тахте Римгайлова свои шерстяные носочки и коленки-булочки: такая мягонькая и вся-вся податливая. У них одна профессия на двоих. У них пять общих спектаклей. Они вместе сидели за бархатной ширмой, разговаривали странными голосами, слушали аплодисменты, гладили друг дружку свободные руки, пока их рабочие ладони грелись в тряпичных телах сказочных зверей.

— Я тебя долго изучала, — говорила Зиночка, готовя им латте на кухне Римгайлова. — Ты не такой, как девелопер. Это было мимолётно. Забрела в брак. Прости, что сравниваю. Но ведь это сравнение ты выигрываешь. Ты — моя душа. У нас одна страсть!

Римгайлов внимательно смотрел на экран телевизора (шёл «Осенний марафон»

Данелии) и соглашался с Зиной. Ему было приятно просочиться в сердце женщины. Но тоска... тоска... Ведь всё случилось как-то слишком поздно. Ему за сорок. Зинке — под. Что дальше? Дети? В их-то возрасте? Они — фанатики кукол, может быть, даже их рабы. Театр — настоящее светило, затмевающее лампочку маленькой брежневки Римгайлова. Их хрупкую запоздалую близость обязательно обгрызёт скучный быт, и они к нему совсем не готовы. Они — вольные птицы. Артисты. Душевно расхлябанные. Эгоистичные. Беспечные. Любящие пригубить горячительного «ради вдохновения». Их накрыло осенней любовью. Но осень сменяется зимой.

И всё же им было хорошо. Она убеждала в этом его — и себя. И он убеждался и побеждался её словами, мягкими свитерами, смешками, смешочками, взмахами рук, духами, вздохами. Она хвалила его длинные ресницы, нос с горбинкой, красивый почерк, смягчённый сарказм... Её голос слегка подрагивал, а фарфоровые пальцы рисовали в межзвёздном пространстве невидимые сердца.

Через год после начала романа Римгайлов засобиравшись с театром на гастроли в Краков. Приболевшая Зинка оставалась и, покашливая, напутствовала Римгайлова сквозь лилейную маску:

— Обязательно сходи к Вавельскому Смоку. Это у них такой дракон. Скульптура! Дышит огнём, представь себе.

Римгайлов обещал сходить и уехал.

Представления в королевском городе Польши начались в тёплом августе и должны были закончиться в первых числах сентября. Дома артисты репетировали «Красную Шапочку» на польском.

— *Dokąd idziesz, Czerwony Kapturku?*¹ — Римагайлов читал польский текст с листа, а его волк махал бархатными лапами и тряс взъерошенной пеньковой шевелюрой, заворачивая маленьких поляков.

Артисты сильно уставали, играя на чужом языке, но долгие аплодисменты доказывали: всё было не зря.

Однажды после спектакля Римгайлова представили элегантной даме — менеджеру краковского театра кукол. Ей было больше пятидесяти. Голову дамы как будто держали в вертикальном положении огромные уши, почему-то не портившие миловидное лицо. Полные губы сразу приклеивали к себе мужские глаза. Её красивые движения напоминали полёт гибких балерин на полотнах Дега. Звали даму пани Марта.

— *Bardzo mi miło poznać Pana*², — глаза пани Марты скользнули по грязным кроссовкам Римгайлова. — Моя мама была белоруской. Она мне выучила немного *gozmawiać*³, по-русски и белоруску. Может, пан хочет *pospacerować*⁴ по Кракову? Я пану покажу город.

— Отведите меня к Вавельскому Смоку, — попросил Римгайлов и сверкнул своей покоряющей улыбкой.

— *Bardzo chętnie*⁵.

Огромный бронзовый ящер стоял неподалёку от замка польских королей... Он действительно мог извергать пламя. О, как это чудовище сумело разогреть что-то внутри Римгайлова! Знала бы Зинка, какую роль сыграет присватанный ею дракон. Или драконом здесь был кто-то другой?

Пани Марта дышала большой грудью и, задирая подбородок, рассказывала заезжему кукольнику историю краковских улиц. Она ласкала локоть Римгайлова. Её алые ногти скреблись, казалось, не по рубашке гостя, а по его печени, почкам, селезёнке, по сердцу, заполненному кипящей кровью. Пани Марта пестовала в Римгайлове что-то горькое и сладкое одновременно — чувство греха и радостного, благородного всепринятия.

Свидетелем сверхновой любви был задумчивый Краков. Его покрасневший Марицкий костёл кивал всем влюблённым разновысокими башнями. Блестела очерченная чёрной пастелью брусчатка. Шелестели, аккомпанируя уличным певцам, безбурные деревья Плантов. Звенели в душах горожан кованные ограды вокруг домов... и тротуары загибались, уходили вверх, чтобы кружиться в глубоких водоворотах лазуритового неба.

Старый город пьянил Римгайлова, рождал самоцветные миражи будущего — неизведанного и чудесного. Конечно, удавалось это хитрецу Кракову благодаря его королевне, пани Марте.

Когда Римгайлов гулял со своей спутницей после спектаклей, она казалась

¹ Куда идёшь, Красная Шапочка? (пол.).

² Мне очень приятно познакомиться с господином (пол.).

³ Говорить (пол.).

⁴ Погулять (пол.).

⁵ Весьма охотно (пол.).

счастливой и вдохновлённой, готовой к битве на полях любви. Удивительно, но пани Марта действительно была такой. Взаимность мгновенных чувств двух взрослых людей с разными паспортами выглядела порождением писательского воображения, но была реальностью.

После десятка прогулок Римгайлов обнаружил себя в спальне пани Марты, на затемнённой вечером розовой кровати. Утром женщина с большими ушами приготовила возлюбленному омлет по-краковски.

Всё случилось легко и быстро. Как же долго Римгайлов был далёк от любовного фронта! И вот, разорвав финишную ленту сорокалетия, он, пугая себя самого, стремительно превращался в ловеласа, потерянного в любовном треугольнике.

Так кукольник оказался на распутье. Римгайлов мог остаться в своём театре и пуховых объятьях Зиновьи. Мог последовать совету пани Марты и поселиться в Кракове: выучить польский, устроиться в театр возлюбленной. Наверное, был и какой-то третий путь... Может быть — побег от всех людей и театров?

Римгайлов погрузился в закулисные желаний. Он знал, что любит пани Марту любовью Казановы. Но Зиновью он любил любовью Вертера. Польский ураган не снёс хижину домашнего рая, в которой ждала милая и родная Зиновья. Нужно было решать.

Пани Марта, когда Римгайлов признался ей, что занят, долго, не мигая, смотрела в его глубоко посаженные глаза.

— Если человек не *zaczyna*¹ однажды решать и уверенно выбирать свою судьбу, то он так и будит в лучшем случае одиноким волком, а в худшем — раком-отшельником.

Эх, если бы не проклятая, идущая из детства волевая слабость...

Вечером кукольник уклонился от встречи с пани Мартой. Он вышел на сольную прогулку. Петляя старыми улочками, подобрался к Вавельскому Смоку. Дракон был холоден и не дышал огнём. Римгайлов же, наоборот, разгорячён и не знал, что делать. Он побежал. Заскочил в обшарпанный дворик напротив готического костёла. И здесь к Римгайлову непонятно откуда прилетела цитата из нелюбимого Достоевского: «...он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора?»

Кукольник мотнул головой и потёр щёки.

Насиженное прошлое или новое будущее? Какая женщина? Какой театр? Какая страна? Какой Римгайлов?

Он порылся в кармане, нащупал польскую мелочь. Выудил монету и внимательно осмотрел её. Поскрёб ногтем. Два гроша с польским орлом и дубовыми листьями.

«Зиновья — орёл. Пани Марта — решка».

Римгайлов подкинул двухгрошевик, но не стал ловить. Жёлтый кругляш блеснул и рассыпался звоном по асфальту. Римгайлов замер. Поёжился. Тихонько засопел. Отвернулся, так и не взглянув на монету.

«Может быть, поднимет тот, кому нужнее», — подумал кукольник.

Заходящее солнце облаграло островерхий город и впечатывало огромную тень Римгайлова в исписанную вандалами стену. Что-то сладостное и сонное трепетало в пламени лучистых лесок, протянутых между триумфальным небом и обожжённой землёй.

Кукольник вспомнил, как в институте изучал театр теней. Он поднял руки, облизал губы, выгнул ладони. На стене появилась тень волчьей морды. Одинокий волк взглянул вверх. Потом открыл пасть и завыл. Протяжно. Непонимающе. Совсем как человек.

¹ Начинает (пол.).